

АЛЕКСАНДР
ЖОЛКОВСКИЙ

18+



НАПРАСНЫЕ
СОВЕРШЕНСТВА

и другие виньетки

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Александр Жолковский

**Напрасные совершенства
и другие виньетки**

«Издательство АСТ»

2015

Жолковский А. К.

Напрасные совершенства и другие виньетки /

А. К. Жолковский — «Издательство АСТ», 2015

Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных. Эта проза увлекательна, непредсказуема и, по выражению его заочной противницы Ахматовой, ровно настолько бесстыдна, чтобы приблизиться к поэзии. (Д. Быков)

© Жолковский А. К., 2015

© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Справка	6
Часть I	8
Консервы	8
Котлеты моей мамы	13
Из папиных рассказов	16
Рамочная конструкция	16
Талон на место у колонн	16
Технические погрешности	16
О политических взглядах	17
Эросипед	19
Очерки бурсы	21
Мальчики	21
Вечно женское	22
Уроки Октября	23
Саша Самбор	24
“А” и “Б”	26
Comrades Petrov and Smirnov	27
Чеширское	28
Троянской войны не будет	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Александр Жолковский

Напрасные совершенства

и другие виньетки



Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы Государственный литературный музей

В оформлении переплета использована фотография А. К. Жолковского Олимпии Гонсалес

В книге использованы фотографии из личного архива А. К. Жолковского, фотография А. А. Ахматовой работы М. С. Наппельбаума (Агентство ФТМ Лтд.), кадры из фильмов: “The Spy Who Loved Me”, “Eye of the Beholder”, “Inside Deep Throat”, “Broken Blossoms”, “Sleeper”, “Чапаев” и “Go West”, а также обложка книги М. Ю. Берга “Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе” с разрешения издательства “Новое Литературное Обозрение”

© Жолковский А. К.

© ООО «Издательство АСТ»

Справка

...На ваш запрос сообщаю, что мемуарные виньетки я начал писать в Москве более полувека назад, без какой-либо мысли о публикации. Про себя я называл их “Мемуары”. Они были не только источником непосредственного удовольствия, но и способом – в момент перехода от лингвистики к поэтике – “расписаться”. Поэтика требовала внутреннего раскрепощения, и мемуарные упражнения помогали. Я вернулся к ним в конце 1990-х, пройдя длинный путь дискурсивной эмансипации: лингвистика – поэтика – постструктурализм – демифологизация – эссеистика – рассказы. Но целиком от “научности” не избавился.

Не только в том смысле, что некоторые виньетки напоминают литературоведческие эссе. Дело в напряжении между верностью правде (того, как было или, во всяком случае, как я помню, как было) и свободой ее презентации. Врать, преувеличивать, придумывать события нельзя, но что рассказать, а что нет, какую авторскую позу принять, – твое авторское право. Даже в журналистике требование документальности распространяется лишь на сообщаемые факты, позволяя репортеру вольности в обращении с собственной персоной как еще одним повествовательным приемом.

Стержень жанра – авторский образ виньетиста, находящийся на опасном стыке “правды” и “свободы”. Он присутствует в реминисцентной перспективе, в манере рассказывания (часто “научной”) и в рассказываемых историях. На всех трех уровнях он проблематизируется. Мемуарист предстает неуверенным в фактах, повествователь – амбивалентным в оценках, а герой попадает под удар как фабульно, так и экзистенциально, оказываясь не только свидетелем и жертвой событий, но и их соучастником-совиновником. Присочинение постыдных фактов не допускается, их и так хватает. Главное мемуарное правило – не забыть на себя оборотиться.

Не всякий вспомнившийся эпизод, любопытный исторически, этнографически или автобиографически (и забавный в устном варианте), представляет законный материал для виньетки. Критериев отсеивания много, и я не берусь их сформулировать, но мне, как правило, более или менее ясно, есть ли в эпизоде что-то “мое”, то есть, выражаясь нескромно, что-то, что именно мне стоит тревожиться описывать.

Кстати, о нескромности. В виньетках часто констатируют авторский “нарциссизм”. Но авторство вещь вообще нескромная. Особенно нахальное занятие – мемуаристика, тем более – избранный мной кокетливый завиток этого жанра. Я действительно претендую не столько на протоколирование “фактов” (и тех намертво запомнившихся словечек, ради которых по большей части предпринимается рассказ), сколько на интересность собственного в них соучастия и их ретроспективного преподнесения. Последнее состоит, среди прочего, в словесной полировке, организации сюжетных рифм, отделке заголовков, реплик, концовок и т. п. Тем самым происходит дальнейшее отстранение от “правды”, которая всячески эстетизируется, нарциссизируется, виньетизируется.

Ревани она берет в другом. Главную “правду” виньеток я полагаю в самой решимости написать их и написать так, как хочется. У меня есть знакомые, которые видели, помнят и могли бы рассказать гораздо больше и лучше, чем я. Могли бы, но не могут, во всяком случае, публично. Боятся. Боятся занять позицию – идейную, стилистическую, самопрезентационную. Иными словами, боятся авторства. Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той кариатидой, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора. Нужда в усилиях становится ощутимой, когда друзья вдруг единодушно ополчаются против какой-нибудь особенно рискованной виньетки, мотивируя это, разумеется, формальными соображениями (“не в вашем стиле”).

Но не буду преувеличивать своего авторского героизма. Виньетки написаны не с последней прямо́той (да и у Мандельштама она почему-то ассоциируется с противопоставлением шерри-бренди как бредней не менее сомнительным Мэри и коктейлям), а в условном жанре, задающем сложный баланс непосредственных впечатлений и ретроспективных оценок, фактографических констатаций и фигур речи, откровенностей и умолчаний. Умолчания, впрочем, не окончательны, или, если воспользоваться макабрическим англицизмом, не терминальны: заведен и пополняется файл, который я, с оглядкой на Ходжу Насреддина (“за тридцать лет либо я, либо шах, либо ишак – кто-нибудь умрет”), про себя называю посмертным.

Часть I

Яблоко или гулять

Консервы

Мои самые ранние воспоминания довольно поздние. В отличие от Толстого, который сохранил память о себе как о трехмесячном младенце, то возвышающем свой голос против тугих свивальников, то блаженствующем в купальном корыте, от Пастернака, который вспоминал, как четырехлетним проснулся как раз, когда в гостях у родителей был Толстой (“Боренька знал, когда проснуться”, – язвила Ахматова), и от Ахматовой, писавшей, правда, со слов старших, что вроде бы помнила себя чуть ли не двухлетним ребенком, – я более или менее толком помню о себе что-то лет с шести, да и то не всегда ясно и отчасти по рассказам взрослых.

В Москву из эвакуации мы вернулись летом 1943-го. О знакомстве с Женькой Зенкевичем – солнечным августовским днем он с сачком гонялся за крапивницами – я уже вспоминал.¹ Примерно к тому же времени относится память о первой прогулке на автомобиле. Это случилось, наоборот, вечером и окутано в моей памяти некоторым мраком.

¹ Жолковский А. К., Армей, плейнбол, жало // А. К. Жолковский. “Звезды и немного нервно”. М.: Время, 2008. С. 13.



На Остоженке до войны. Мне три с половиной

Из Ленинграда приехал “дядя Пия”. В кавычках потому, что мне неясно, кому в нашей семье он мог приходиться столь близким родственником, а также потому, что загадочно звучало и само его имя, Пия, по сути женское (потом в Доме творчества композиторов в Иванове много лет работала веселая подавальщица Пия), при том, что каким-то образом я помню и его полное имя-отчество, Пий Григорьевич, хотя больше никогда его не видел и разговоров о

нем не слышал. А если он все-таки был нашим родственником, то тогда, конечно, с маминной, в анамнезе еврейско-киевской, стороны, с чем совместимо отчество Григорьевич, допускающее еврейскую генеалогию, но диссонирует вызывающе христианское и даже католическое имя Пий (носившееся, в частности, тогдашним папой Пием XII, старшим современником нашего “дяди”).

Дядя Пия запомнился. Он был высокого роста, худой, с резкими чертами лица и седыми волосами и, судя по обращению с ним взрослых – мамы, папы и маминого двоюродного брата, тоже киевлянина дяди Толи (Тобиаса Борисовича), – очень авторитетный. В частности, он говорил о том, как теперь, с приближением победы над немцами, пойдет жизнь. Например, снова, как до войны, будут такси. Из того, что возвращение такси откладывалось на будущее, я заключаю, что автомобильная поездка, о которой идет речь, была предпринята не на такси. То есть либо дядя Пия поймал левую машину (что кажется мне маловероятным, хотя кто знает), либо у него как у важного лица, вероятнее всего, командировочного, была в распоряжении служебная, на каковой мы и поехали. Садись ли мы в нее перед нашим домом (Метростроевская, а когда-то и теперь опять Остоженка, 41) или, что почему-то кажется более похожим на правду, на Садовом кольце, я не помню, но знаю, что вышли мы из нее после поездки именно на углу Садового. Потому что знаю наизусть (увы, в пересказе родителей, не преминувших занести речи гениального ребенка в семейную красную книгу) свое афористическое резюме:

– Мы поехали *ту-да*, – жест в сторону Зубовской, – а приехали *ат-тудуда*, – кивок в сторону Крымского моста.



Угол Мерзляковского переулка и Большой Никитской – доходный дом 1901–1903 гг. Архитекторы Н. Д. Струков, В. П. Цейдлер. Раньше тут был фирменный магазин «Консервы»

Больше ничего про дядю Пию и устроенную им, возможно, специально для меня поездку не помню, но хорошо помню ощущение постепенного оттаивания жизни от лишений военного времени. Так, вместе с обещанным дядей Пией такси вскоре вернулась и продажа томатного сока из красивых конусообразных сосудов с крантиками в магазине “Консервы”, куда меня привела мама.² Магазин был на углу Большой Никитской и Мерзляковского переулка, в котором располагалось (и до сих пор располагается) музучилище при Московской консерватории

² Д. С. Рыбакова (1904–1954), музыковед.

– место маминой работы и до, и после войны. С тех пор я навсегда полюбил томатный сок и, выбирая его в самолете, не могу не думать о маме (так что от будущих фрейдистских исследователей моего творчества можно ожидать гипотез о подсознательном уравнении “томатный сок = молоко матери”).

Еще одно пищевое воспоминание тех лет (скорее всего, апреля 1944-го) мамин день рождения, который вообще праздновался редко, но для сорокалетнего юбилея могло быть сделано исключение. Гостей было немного, сидели не в “столовой” (папином кабинете), а в средней комнате (будущей моей). Была мамина любимая младшая двоюродная сестра, красавица тетя Саночка (Сусанна Абрамовна), потом рано умершая (раньше мамы, которая ее смерть переживала тяжело и пережила ненадолго), был наш сосед по квартире, дедушка (очень добрый, хотя и очень-очень двоюродный) Давид Исаевич (Шейнис). Он принес маме маленькую баночку сметаны (граммов 100–150). Достать такое тогда было трудно, и подарок был маме особенно дорог, потому что масла она есть не могла.

В том же году или немного позже, уже на мой день рождения, две гостьи не сговариваясь испекли похожие сладкие пирожки, бросив вызов дипломатическим способностям именинника. Опять-таки со слов умиленных родителей, известен его сомонов вердикт:

– Они одинаково вкусные, хотя разного вкуса.

Не знаю, как увернуться от обвинений в нарциссизме, да еще по поводу малопримечательного детского лепета, но не удержусь от того, чтобы усмотреть в двух чудом спасенных от забвения высказываниях прообразы моей любви к четко замкнутым сюжетам и к, казалось бы, взаимоисключающим поэтическим системам.

Котлеты моей мамы

Консерватизм психологически понятен еще и потому, что нашим прошлым является детство, сохраняющее притягательность, даже если проходило оно не в лучших условиях.

Два года моего детства – от четырех до шести – пришлось на эвакуацию. Мы жили сначала в совхозе под Свердловском, а потом в самом городе, на ВИЗе, в поселке Верхне-Исетского завода. Папа³ работал в Свердловской и переведенной на Урал Киевской консерваториях, так что мы не голодали. Все же питались мы (папа, мама, папина мама и я) много скромнее, чем раньше; часто ужин состоял из картофельного блина, крест-накрест разрезанного на четыре части.

Последствия такой диеты для моего здоровья оказались самыми благотворными – я излечился от мучившего меня в Москве диатеза, против которого бессильны были (или который вызывали?) бесконечно испытывавшиеся врачами комбинации соков, фруктов, бульонов и т. п. У меня развился бешеный аппетит (сохранившийся по сей день), и меня ставили в пример капризной малоежке Наде из другой музыкальной семьи, жившей в совхозе в той же избе, что наша и еще две эвакуированных. Роль образцового пай-мальчика неблагодарна, и понятно, что Надя должна была меня возненавидеть. Во всяком случае, именно так я предпочитаю объяснять себе оскорбительное равнодушие, проявленное ею к моим воздыханиям, когда восемью годами позже мы оказались в одном и том же пионерском лагере Союза композиторов.

Интересно, что и на этот раз причиной моей отправки “в люди” послужили исторические события: папа был уволен из консерватории в ходе кампании против “космополитизма” (1949), и об отдыхе в композиторском Доме творчества где-нибудь в Карелии или на Рижском взморье пришлось на некоторое время забыть. К удивлению родителей, я был в восторге от лагерной жизни и охотно остался на второй месяц. Помню, как ужаснули маму (из Москвы вызвавшую меня к телефону в кабинет директора, чтобы обсудить вопрос о второй смене) мои слова, что “добавки дают вволю”. Она решила, что нас держат впроголодь.

Так или иначе, мой аппетит, а с ним и здоровая неприхотливость в пище остались при мне. Впрочем, неприхотливость не то слово. Вернее будет сказать – требовательная приверженность к привычному минимуму: хлебу с маслом, котлетам с картошкой, чаю с сахаром.

³ Отчим – Л. А. Мазель (1907–2000), музыковед.



С мамой, Д. С. Рыбаковой

Мама готовила не очень хорошо, да и мало этим интересовалась. По возвращении из эвакуации, а тем более после войны, благосостояние семьи поправилось. Появились и часто сменялись домработницы, готовившие кто как. Особенно запомнилась одна довольно старая и неаппетитная женщина по имени Анна Максимовна Гилинис. Она поступила к нам по рекомендации, после смерти некоего генерала, у которого долго служила сиделкой. Готовила она невкусно (при генерале ее функция состояла в том, чтобы развлекать его разговорами), в супе попадались волосы, зато, подавая папе очередное блюдо, она приговаривала на полусшепоте нечто совершенно доисторическое, откуда-то чуть ли не из Островского: “Кюшшайте, кюшшайте, ваше превсс-дит-сство!”

Эта овеванная стариной формула всегда интриговала меня. Прикинув, что в 1950 году Анне Максимовне было около шестидесяти, было нетрудно вычислить, что она вполне могла успеть до революции побывать в прислугах у какого-нибудь царского генерала или чиновника. Задуматься заставляла, однако, сохранность подобных старорежимных замашек несколько советских десятилетий спустя, наводившая на невероятную догадку, что величание “превосходительством” принято было и у ора советского военачальника. Кто знает, может быть, именно эта архаичность речи обеспечила Анне Максимовне взятие на разговорную должность сиделки?! Наконец, не исключена была возможность, что заставивший уважать себя генерал сам сохранился с царских времен, и, таким образом, перерыва в употреблении архиконсервативной формулы вообще не наступало.

Мама умерла, когда мне было 17 лет; с женами же мне определенно повезло – почти все они готовили вкусно, а некоторые просто замечательно. Одна из них делала это, правда, лишь по большим оказиям, зато с бесспорным искусством, являя фигуру в буквальном смысле редкой хозяйки. Другая была настоящей энтузиасткой и мастерицей кулинарного дела, и ее тем более задевал мой отказ похвалить ее котлеты. Приготовленные каждый раз по новым рецептам, они никак не могли дотянуть до эталона, заданного когда-то мамой и свято хранившегося в моей внутренней палате мер и весов. Но Таня не смирялась с поражением и продолжала борьбу.

Как-то у нас была ее подруга, мы сидели на кухне, и Таня пожаловалась:

– Вот, Лена, стараюсь изо всех сил, но, конечно, опять не выйдут эти загадочные “котлеты его мамы”! То получают слишком пышные, то слишком нежные, прямо не знаю.

Лена отреагировала неожиданно:

– Котлеты его мамы? Да ты подумай, когда она их делала! Небось, в эвакуации. Положи 90 % черняшки, и все. Подумаешь, котлеты его мамы!

С ходу бухнуть столько хлеба рука у Тани не поднялась, но какую-то поправку в указанном направлении она сделала, результатом чего было заметное приближение к идеалу, и вскоре задача изготовления котлет моей мамы была решена полностью и окончательно.

Вызванный однажды из глубин прошлого и закрепленный с тех пор в нарративе, рецепт маминых котлет обеспечивает им вечное возвращение. Жены приходят и уходят, котлеты остаются.

Из папиных рассказов

Своей любовью к виньеткам я обязан папе, который был мастером устных новелл. Лучше всего они воспринимаются в записи на звуковую и видеопленку, но во многом сохраняются и в письменной передаче. По памяти приведу некоторые из них.

Рамочная конструкция

Когда по какому-нибудь политическому поводу говорили, что такое не может долго продолжаться, папа вспоминал, как в 1918 году его одноклассница (им было по одиннадцать лет), случайно встреченная на трамвайной остановке, бросила ему с подножки:

– Ну, долго же такое продолжаться не может!

Он также любил цитировать Шостаковича, в аналогичных случаях говорившего:

– Были же Средние века. Понимаете? ВЕ-КА!

Тем не менее папы, родившегося за 10 лет до советской власти, достало на то, чтобы прожить столько же и после нее. Он любил симметрию. Ну и, как известно, в России надо жить долго.

Шостакович (1906–1975), наоборот, на десяток с лишним лет не дотянул. В математическом смысле это тоже симметрия, но не зеркальная, а какая-то похуже, кажется, продольная.

Талон на место у колонн

Папа рассказывал, что Шостакович имел обыкновение приезжать на вокзал сильно заранее, чтобы, как только подадут состав, войти в вагон, занять свое место, постелить постель, раздеться и лечь под одеяло.

– Зачем?

– Затем, что если окажется, что на это место продали два билета и придет другой пассажир, то место останется за Шостаковичем как за уже лежащим.

На недоумения типа: он же Шостакович, лауреат, депутат и т. п., так что место ему уж как-нибудь обеспечено – папа отвечал другой историей про Шостаковича и билеты.

В 1930-е годы его даме вдруг захотелось пойти в театр, мимо которого они проходили. В кассе билетов не оказалось. Шостакович готов был ретироваться, но дамочка продолжала напирать: он знаменитость, его все знают, стоит ему назвать себя, как билеты найдутся. Он долго отнекивался, но, в конце концов, сдался и обратился в окошечко администратора с сообщением, что он Шостакович. В ответ он услышал:

– Ви себе Состаковиц, я себе Рабиновиц, ви меня не знаете, я вас не знаю...

Технические погрешности

Рассказы об успешном противостоянии силе не так неправдоподобны, как мы подспудно боимся. Наезд обычно предполагает пассивность жертвы, а потому продумывается лишь на шаг вперед и контрудара не выдерживает. Папа рассказывал об одном таком эпизоде из композиторской жизни.

Фортепианный квинтет Шостаковича был впервые исполнен в 1940 году, в Малом зале консерватории, автором и квинтетом им. Бетховена. На генеральной репетиции присутствовала музыкальная элита, в том числе Арам Хачатурян, бывший уже в чине зампреда оргкомитета Союза композиторов. Квинтет имел успех, и Хачатурян одним из первых поднялся на сцену поздравить автора. Но в свои похвалы он внес завистливо-перестраховочную ноту:

– Прекрасная музыка, Дмитрий Дмитриевич. Все великолепно, за исключением разве что мелких технических погрешностей.

Заводить речь о технических недоработках у бесспорного мастера формы Хачатуряну, по слухам, отдававшего оркестровать свои сочинения музыкальным неграм, не следовало.

– Да, да, технические погрешности, технические погрешности, надо их устранить, устранить, немедленно устранить. – Нервно жестикулируя, Шостакович стал созывать исполнителей. – Дмитрий Михайлович, Василий Петрович, Сергей Петрович, Вадим Васильевич, в партитуру квинтета вкрались технические погрешности. Арам Ильич обнаружил досадные технические погрешности, технические погрешности. Сейчас он их нам покажет. Арам Ильич, пожалуйста, к инструменту. Нельзя допустить, чтобы свет увидело несовершенное сочинение, несовершенное сочинение.

Хачатурян всячески уворачивался, но Шостакович продолжал тащить его к роялю, сгребая вокруг него членов квартета, пока тому не удалось наконец вырваться из окружения и спастись бегством.

Не исключено, что сомнительный комплимент сошел бы ему с рук, прояви он больше внимания к его технической стороне – выбору слов.

О политических взглядах

Из истории известно, что первым шагом к развалу социалистического лагеря, а там и СССР, стало освобождение Югославии от советского контроля в 1948 году. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят, – об одной апокрифической версии этого эпизода международной дипломатии.

Я услышал ее от папы. Анекдоты о Сталине были любимым жанром его поколения. Они сочетали критический взгляд на величайшего гения всех времен и народов с подсознательным восхищением его властной магией. Особенно же волнующими были те – единичные – случаи, когда сталинская коса находила на камень. Новелла о поединке Сталина и Тито, “двух Иосифов”, относилась именно к этой категории. Речь Сталина папа передавал с характерным грузинским акцентом, который я обозначаю лишь местами.

“Сталину доложили, что Иосип Броз Тито и Георгий Димитров обсуждают создание Балканской федерации, куда наряду с Югославией и Болгарией вошла бы и Албания, и что они на свой страх и риск поддерживают революционное движение в Греции.

Сталин вызвал Тито к себе. Тот немедленно прилетел в Москву на своем самолете и на машине югославского посольства приехал в Кремль.

Сталин заговорил с ним в своей обычной отеческой манере.

– Ну, расскажи, что это вы там затеваете?

– Кто мы? Никто ничего не затевает, товарищ Сталин.

– Ну как же, говорят, вы с Димитровым что-то задумали на Балканах.

– А-а, это об объединении социалистических народов Балканского полуострова?

– Значит, ты этого не отрицашь?

– Зачем же отрицать – идея, нам кажется, хорошая, прогрессивная.

– Прогрессивная, прогрессивная. Почему же вы тогда решили действовать за моей спиной?

– Как это за спиной, Иосиф Виссарионович?! Мы просто не хотели морочить вам голову сырыми идеями, хотели подготовить дело, чтобы вы могли сказать свое веское слово.

– Голову нэ хотели марочить?! Это правильно. Зачѐм зря голову марочить?.. Ладно, приходи завтра, вместе подумаем...

И Сталин посмотрел на Тито своим лучистым взглядом из-под бровей, давая понять, что аудиенция окончена.

Тито вышел, бросился в машину, погнал на аэродром, к своему самолету, улетел в Белград, арестовал сталинских агентов, закрыл границы, привел войска в боевую готовность – и стал первым коммунистическим лидером, безнаказанно ослушавшимся Сталина. Сталин организовал против него идеологическую кампанию, пытался задушить Югославию экономически, подсылал к нему убийц – все безуспешно. Тито пережил его, дождался приезда Хрущева в Белград с извинениями, но своего независимого курса не изменил и диктату из Москвы не подчинился.

В чем был его секрет? Он прекрасно разбирался во *взглядах* товарища Сталина и других товарищей”.

Эросипед

Одним из устойчивых ранних впечатлений была фигура велосипедистки, проносившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы, в частности в районе, где я жил. Это была стройная черноволосая девушка, одетая в соответствующий спортивный, вероятно, импортный костюм, с интеллигентным, несколько смуглым лицом и живыми глазами навывкате, как я теперь понимаю, еврейка (в лице которой, опять-таки задним числом, мне видится сходство с мамой). Я ни разу не молвил с ней ни слова, хотя потом мы пересекались в Доме ученых и, кажется, в Консерватории. Я запомнил ее мчащейся по Кропоткинской (ныне опять Пречистенке) на своем полуночном велосипеде. Не знаю, почему я решил, что она дочка академика, и даже мысленно определил, безо всяких к тому оснований, какого именно. Тут действовала скорее логика сна и мифообразования, нежели здравого смысла. Никакого продолжения у этого сюжета не было – он остался лишь общим прологом к дальнейшему.

В мою собственную жизнь велосипед вошел (если не считать трехколесного, видного на довоенных снимках) летом 1951 года, перед восьмым классом и четырнадцатилетием. С тех пор с ним было связано так много, что всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковию, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстердаму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтерею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве. Ездил днем и ночью, по делам, на заседания, в магазины, ради спорта и в романических целях. Я падал на велосипеде с моста в воду, пару раз был сбит машиной, однажды в пьяном виде в новогоднюю ночь 1965 года поскользнулся на велосипеде на рыхлом снегу около Маяковки и сломал ключицу, а несколько лет назад в Москве упал с тяжелым грузом книг и повредил руку. Велосипеды у меня крали (как-то раз я и сам купил подозрительно дешевый, видимо, краденый, и его потом тоже уперли), они ломались, сменялись – русские, японские, европейские, американские, дорожные, спортивные, горные; не было, пожалуй, только тандема.

Дачная езда на велосипеде (синем, дорожном, марки ЗИС) ознаменовала некоторое мое повзросление, но должна была укладываться в жесткие рамки родительских требований. Возвращаться, в том числе со свидания, надо было к определенному, довольно раннему часу. Мотивировались эти строгости, разумеется, волнениями родителей за меня. Главнoбеспокоящимся была мама; впрочем, папа, более либеральный, но и более педантичный, держал ту же линию. Однажды у нас с ним произошел характерный конфликт на этой почве.

Мы жили на даче в Челюскинской, я вечером поехал кататься, пообещав вернуться в условленное время. Но в самой дальней точке маршрута, по другую сторону железной дороги, у меня что-то сломалось, я долго возился, наконец кое-как починил и, в конце концов, с большим опозданием в полной темноте добрался до дачи. Папа стал неприятным тоном меня отчитывать – за нарушение слова и причиненное беспокойство. Несправедливость этого выговора меня возмутила – может быть, потому, что обнажила садистскую подоплеку всех подобных строгостей. Я ответил, что не вижу оснований для недовольства, наоборот, все получилось правильно. Он беспокоился, как бы со мной чего не случилось, – так вот именно это и произошло, со мной именно случилось, и таким образом его беспокойство и ожидание не пропали даром. Какое-то либерализующее действие эта аргументация тогда возымела, но и в шестидесятилетнем с лишним возрасте, до самой его смерти (2000), я продолжал держать перед ним нескончаемый экзамен по пунктуальности – межконтинентальных звонков и московских возвращений в квартиру, будь то пешеходных, велосипедных или таксомоторных.

А вот сравнительно недавняя история. Написав полупародийный разбор одной эротической поговорки, я послал его своему нью-йоркскому коллеге М. Тот прочел и, смеясь, сказал,

что статья напоминает ему меня самого. Я смущенно спросил, чем же именно – имеет ли он в виду что-то из сексуальной сферы. Нет, сказал он, не из сексуальной, а из велосипедной: она написана так, как я ездил у них на велике весной 1993 года.

Вспомнить о своем личном рекорде было приятно. Я тогда прилетел в Нью-Йорк поработать с М. над нашей совместной книгой. У них была двухкомнатная квартирка в Гринвич-Виллидж. Мы работали целыми днями, а ночевал я то у них, то у других знакомых, на противоположном конце Манхэттена, около Колумбийского университета. Курсировал между двумя квартирами на велосипеде – это больше сотни кварталов.

Когда в работе с М. наступал перерыв, я брал стоявший в передней велосипед и пытался объехать на нем журнальный столик в гостиной. Сначала я не успевал развернуться, задевал за мебель и с позором соскакивал посреди комнаты. Но терпенье и труд все перетрут – наступил день, когда я стал свободно въезжать в гостиную, огибать столик, выкруливать обратно в переднюю и даже заворачивать в спальню!

М. сочетает добродушие со злоязычием. Как-то раз, когда я стал восхищаться его умением отыскивать в букинистических магазинах редкие книги, да еще и по дешевке, он сказал, что у каждого свои пристрастия-дарования, вот, например, у меня – к велосипеду. Поэтому не исключено, что и уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как комплимент. Тем более что, на мой взгляд, велосипед – с его рамой и твердо надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне – не хухры-мухры.

Очерки бурсы

Школу полагается ненавидеть; у меня этого не было. Я посещал ее охотно и благодарен ей за немногие прочные знания. Проблематичность школьного опыта дошла до меня не сразу.

Мальчики

В средних классах литературу преподавал высокий, плотный, в потертом щегольском костюме Алексей Дмитриевич Коршунов. Его приветливое, но какое-то голое лицо с большой румяной бородавкой стоит у меня перед глазами. На его уроках требовалось выйти к столу и, руки по швам, бодро рапортовать об образе Онегина или идейном содержании “Муму”.

В этом стандартизованном порядке не все, однако, было так уж стандартно. Ал. Дм. становился позади отвечавшего и своим праздничным фальцетом объявлял:

– Сейчас мальчик такой-то расскажет нам образ Онегина. Станьте прямо, мальчик такой-то. – Он брал ученика за плечи, расправлял их, проводил вниз по его рукам, разворачивал его к классу. – Вот так. Ну, теперь отвечайте образ Онегина.



Школа № 50, 9-й «Б» (1953). Сидят (слева направо) Миша Ройтштейн, Володя Джинчарадзе, Лавренов, Андрюша Ильенко. Сзади стоят Жолковский, Гололобов, Ковтун (?), сидит Эдик Абрамов

О нем, кажется, ходили соответствующие слухи, но в мое сознание они как-то не проникали. Его любимцем был Володя Джинчарадзе, рослый, красивый, старательный. Вызывая Володю, Ал. Дм. исполнял ритуал объятий, замаскированных под уроки выправки, с особой нежностью.

– Сейчас мальчик Джинчарадзе, – Ал. Дм. смаковал каждый из четырех слогов этой шикарной фамилии, – прочитает нам наизусть стихотворение Лермонтова “Смерть поэта”. Оглаживая и поворачивая Володю, он добавлял: – Вот какой у нас отличный ученик, мальчик Володя Джинчарадзе.

Я был более бесспорным отличником, но на подобное special treatment претендовать не мог. До восьмого класса я был шупл и непрезентабелен. “У тебя только и есть, что чистенькое личико”, – вздыхала мама. Впрочем, никаким драматическим унижениям я не подвергался (если не считать позорного поражения в драке – “стыкнемся?!” – с одним из слабейших одноклассников), тем более что имел покровителя в лице пышущего энергией Миши Ройтштейна.

На переменах Миша взалхлеб пересказывал мне очередные главы из “Трех мушкетеров” и бесконечных лет спустя. Самые яркие места он воспроизводил дословно:

– “О, женщины! Кто поймет их?! Вот женщина хочет мужчину, и вот она уже не хочет его!! – вскричал Портос и поскакал прочь”. – Но это не истощало Мишиного напора, и он то и дело хватал меня за грудки со словами: – Ты понял это, маленький уродец? Ведь ты же знаешь, что я все равно тебя убью?!

Соперничество с Володей Джинчарадзе продолжалось до окончания школы, но было напрочь лишено сюжетной остроты. (В итоге оба кончили с золотыми медалями.) Настоящим вызовом моему лидерству стало появление в классе ученика по фамилии Шелепень. Он был детдомовцем из Белоруссии, жил у дальних родственников и носил всегда одну и ту же серо-зеленую сиротскую одежду с большим красным галстуком поверх курточки. Он шепелявил, походил на Буратино, но назвать его маленьким уродцем язык ни у кого бы не повернулся – жестокость далась бы слишком дешево.

Шелепень тянулся изо всех сил, получал пятерку за пятеркой, я же с аристократической небрежностью позволял себе и четверки. Мама не могла этого слышать. У нее были твердые взгляды на все, в частности на элитарность.

– Ты из профессорской семьи, у тебя отдельная комната и стол для занятий, и ты просто не имеешь права учиться хуже того, у кого нет таких условий.

Беспризорный Шелепень в дальнейшем опять куда-то переехал, и соревнование прекратилось. Но мамины прецеденты остались при мне.

Вечно женское

Школа была мужская – образование оставалось раздельным, хотя где-то существовали и смешанные школы. (Когда пришло время записывать меня в школу, мама спросила, в какую я хочу: где одни мальчики или где мальчики и девочки? Где одни девочки, отвечал я.) В старших классах начались совместные вечера с женскими школами, но и в ранние годы интерес к сексу задавался не одним только монастырским гомоэротизмом Алексея Дмитриевича. Волнующее *das ewig Weibliche* (Вечная Женственность) присутствовало; его воплощением была преподавательница начальной школы Анастасия Ивановна.

Она вела не наш, а один из соседних классов, но своей учительницы я не помню, помню только ее. Она была полновата, с большими глазами, дугообразно выщипанными бровями, пробором посередине и симметрично уложенными косами; ее лицо напоминало бабочку. У нее был, как я теперь понимаю, слащавый мещанский выговор. Говорила она размеренно, видимо, стараясь казаться изящнее и интеллигентнее, чем была. Ее с удовольствием слушались.

Она жила в здании школы, у нее был муж-офицер, но школьный фольклор упорно связывал ее то с одним, то с другим из преподавателей, одно время – с прибалтийским, похожим на мартышку физкультурником. Кто-то из нас прослышал, что по утренней походке женщины можно определить, чем она занималась ночью, и иногда мы, с риском быть застигнутыми заву-

чем вне класса, дежурили после звонка у лестницы, чтобы подсмотреть, как будет ставить ноги идущая на первый урок Анастасия.

Старшие ребята позволяли себе и более прямые, разумеется, чисто словесные, посягновения. “На Асеньке я бы попрыгал”, – авторитетно заявлял многократный второгодник Валера Золотарев. Мне такое в голову не приходило, но облик Анастасии Ивановны ушел на дно моего подсознания, откуда определил, полагаю, не один любовный выбор. Задним числом я бы возложил на нее ответственность за мои скифские вкусы, как на маму – за семитские.

Уроки Октября

Верховную власть представлял директор школы Федор Иванович Шибанов, по прозвищу Колобок. Он был лыс, кругл, невысок ростом, и хотя страх быть вызванным к директору традиционно висел над нами, я не припомню особых строгостей с его стороны.

Помню другое. Если заболел кто-нибудь из учителей и его некому было заменить, на помощь приходил Колобок. Делал он это ровно одним способом. Сославшись на свое бывшее амплуа историка, он рассказывал, как “на VI съезде партии, летом 1917 года, когда встал вопрос о переходе от мирного периода развития революции к немирному, товарищ Сталин задал троцкисту Преображенскому вопрос...” Каверзный вопрос товарища Сталина выветрился из моей памяти, хотя слушал я каждый раз с удвоенным интересом, потому что товарищ Сталин был жив и боготворим, а сын троцкиста Преображенского под другой фамилией проживал в нашем доме.

Олицетворял власть директор, но настоящий страх внушал не он, а завуч, молчаливая седая женщина в очках, по имени, кажется, Зинаида, отчества не помню. Вообще, я ничего о ней долгое время не помнил, пока где-то в 1970-е годы не прочел книгу корреспондента “Нью-Йорк Таймс” в Москве Хедрика Смита “The Russians”. В этом поразительно адекватном этнографическом компендиуме нашей туземной жизни целый раздел был посвящен советской школьной системе – на основании опыта собственных детей, специально отданных Смитом в разные московские школы. Мне открылась мрачная картина унифицирующего угнетения юных душ, в которой я не мог не узнать своего вытесненного прошлого. Я вдруг вспомнил два сна, мучавших меня на протяжении многих лет, а потом успешно забытых.

В одном я якобы проболел больше месяца, страшно отстал по алгебре, грядет контрольная, я к ней не готов и просыпаюсь в холодном поту. В другом, времен начальной школы, я должен был после летних каникул явиться в школьную библиотеку и признаться в потере двух книг, взятых на лето, но страх, что библиотекарьша отправит меня к завучу, заставлял бесконечно откладывать явку с повинной.

В результате я не помню ни имени-отчества математички, ни отчества завуча, ни какого-нибудь их словечка, ни чьего-нибудь словечка о них, как ничего не помню и об учительнице четырех начальных классов.

Маму помню ясно – тут Фрейд бессилен.

Саша Самбор

Мне все хочется вспомнить Сашу и хоть как-то зафиксировать его в слове. Не знаю, что мешает. Может быть, то, что подводит хронология, кажущаяся обязательной? Помню я, в общем, немного, но и это немного мне трудно расположить во времени. Впрочем, как нас убедили Фрейд, Леви-Стросс и Якобсон, ни подсознание, ни мифология, ни поэзия хронологией не озабочиваются, подвешивая все в некой парадигматической одновременности.

Конечно, кое-что датировке поддается.

Мы с Сашей однолетки и учились в одной и той же школе № 50, в параллельных классах, которых к концу осталось два: класс гениев “а”, его, и класс “б”, мой.

Даже среди гениев он выделялся. В частности – породой: стройный, с ясным лбом, откинутыми назад темными густыми волосами, изящным прямым, может, слегка курносый носом. Он был веснушчат, но и это его не портило. Фотографий его у меня нет и никогда не было. (При попытках мысленной наводки на резкость я вижу его лицо проступающим сквозь черты теннисиста Томми Хааса – если поубавить смазливости.)

Одно время в школе передавался его разговор с директором, Колобком.

– Самбор, ты не русский?

– Русский.

– Почему же у тебя фамилия такая?

– А потому что у меня отец француз.

Вот тут опять не уверен. Может быть, не француз, а поляк. Дело в том, что, как это часто бывало в те годы, сталинские, да еще и послевоенные, никакого отца, поляка ли, француза ли, в натуре не наблюдалось – Сашу растила одинокая, очень колоритная мама, преподававшая французский язык. Впрочем, она и польским, кажется, владела, к тому же Самбор – город подо Львовом, в бывшей Польше, ныне Украине, так что не знаю. Не исключено, что фамилия была еврейская (по названию города – как Берлин, Лемберг, Падва), и тогда понятен директорский наезд, особенно если приурочить его к 1949 году или к зиме 1952–1953 годов.

Мы общались, но не тесно. Не помню, бывал ли я у него дома, хотя где он жил, помню прекрасно – над молочным магазином (бывш. Чичкина или Бландова) на углу Кропоткинской (теперь опять Пречистенки) и Мансуровского. Это был второй этаж, и ночью Саша иногда вылезал, а потом влезал через окно, выходившее в переулок. Колоритная носатая мама одевалась необычно, помню на голове у нее некий сложный берет или даже нечто многоугольное; впрочем, в те годы, поздние сороковые, одевались кто как мог. (У моей мамы на старых снимках тоже очень странные шляпы.)

Держался Саша приветливо, но как-то скорее замкнуто (отчужденно? потерянно?). У него всегда были другие дела. Он был очень спортивен, среди прочего занимался горными лыжами (но уже в школе или только позже, не помню).

Потом мы окончили школу и видеться практически перестали. Я поступил на филфак МГУ, а он во что-то более карьерное – то ли МГИМО, то ли Военный институт иностранных языков. Полиглотство было у него в крови, а почему он в 1954-м выбрал такой вуз, можно лишь догадываться. Возможно, из любви не только к языкам, но и к дальним странствиям, каковые впоследствии не преминули материализоваться.

Дальше хронология сбивается. Соотнести по времени несколько запомнившихся эпизодов просто не могу.

Когда я, ради сомали, поступил на полставки на Радио (1964), оказалось, что Саша там уже работает, и мы пару раз пересеклись у лифта.

Потом в какой-то момент оказалось, что он, как и я, но не помню, кто раньше, кто позже, подписал письмо протеста (я в 1967-м) и что ему грозит увольнение.

Кажется, его не столько уволили, сколько вдруг забрали в армию, что они, возможно, имели право сделать в любой момент, если по специальности он был военным переводчиком.

В армии он служил по языковой части, и вот опять не уверен, сначала ли в Одессе, а потом в просоветской Гвинее или наоборот. Может быть, в Гвинею (Мали?) он был отправлен (распределен?) ранее, до осложнений с властью, а в Одессу именно сослан потом – за подписание или какую-то другую идеологическую провинность.

В Африке он остался верен себе и выучил местный язык – малинкег, учебник которого, отпечатанный на дешевой колониальной бумаге, по возвращении подарил и мне, но я, довольствуясь сомали, вгрызаться не стал.

А в Одессе он с моей (в опальном ореоле диссидента?) подачи подружился с компанией моих знакомых и, насколько понимаю, завел дежурный роман с тамошней прелестницей-интеллектуалкой Ксаной (от чего я в свое время уклонился, но это особая история).

Впрочем, по воспоминаниям некоторых из общих знакомых, пребывание в Одессе могло быть не долгой ссылкой, а короткой карательной командировкой (году в 1964-м) то ли на курсы усовершенствования, то ли, скорее, для переводческого обслуживания приезжих кадров – кубинцев и гвинейцев. И вроде бы в Одессе он с удовольствием вспоминал о своей заграничке, бывшей, значит, уже в прошлом.

В какой-то момент – не решаюсь поместить его до или после политических событий, не исключено, что после подписанства, в 1970-е, – мы снова сблизились. Да, наверное, уже после того, как я женился на Тане (1973), потому что заходить он стал, похоже, не столько ради меня, сколько ради нее. Таня, кстати, была горнолыжницей, и интерес мог начаться с этого. Так или иначе, он стал заходить и даже один раз увязался с нами за город, причем мы катались на беговых, а он мучительно тащился на горных, что крайне трудно и к тому же, кажется, вредно для ног. Потом его увлечение как-то сразу прошло, и он опять исчез с моего горизонта.

Но может быть и так, что засматривался он не на вторую мою жену, а на первую, Иру, и тогда загородный анабазис надо отнести на десяток лет раньше (мы с Ирой разошлись в 1965-м).

Потом мне рассказали (или он сам рассказал?), что, катаясь на Кавказе, он сильно поломался, чуть ли не повредил позвоночник, так что горные лыжи больше ему не светят, и он страшно это переживает.

И последнее – тут сомнений в порядке событий быть не может, хотя датировка остается смутной: на пьянке в общежитии МГУ на Ленгорах (или в собственной квартире – он был женат, и, кажется, не очень счастливо: жена была сильно старше, с дочкой лет пятнадцати, и остригли, что ему надо было дожидаться ее) он решил шегольнуть проходом по внешнему карнизу из одной комнаты в другую (был такой спорт), сорвался и разбился насмерть. Подозревали самоубийство.

Когда это произошло? Году в 1970-м? В 1975-м?

Но одна дата известна мне совершенно точно. Саша Самбор родился 8 сентября 1937 года, в ту же ночь, в том же родильном доме, на том же столе, что и я. Там наши мамы познакомились, и эта тень двойничества всегда нас немного осеняла. Но вот уже десятки лет, как его нет в живых, а я продолжаю притворяться непогибшим, то более, то менее удачно, в частности путем вампирических воспоминаний о покойных.

“А” и “Б”

Поступив на филфак (1954), я обнаружил среди студентов своей английской группы соученика по школе, Витю С. По школе, но не по классу: он учился в классе “а”, заповеднике гениев, а я – в плебейском “б”, где к гениям отношение было подозрительное. Как-то раз наша классная руководительница тоном выговора заметила мне, что по своему складу я больше подхожу к “а”, и она может позаботиться о моем туда переводе, понимай – изгнании. Дело это, однако, дальше не пошло, и я окончил школу, хотя и с золотой медалью, но с неизбежной печатью класса “б”.

Началось все это тем летним днем 1944 года, когда мама повела отдавать меня в школу. Поступавших в первый класс было много – более двухсот человек, которых, наскоро прикинув уровень их умственного развития, распределяли по классам, от “а” до “д”. Завуч спросила маму, считает ли ребенок до ста. Мама, колебавшись, ответила утвердительно, полагая, что со сложением и вычитанием в пределах ста я как-нибудь справлюсь; насчет умножения и деления полной уверенности у нее не было. Завуч, имевшая в виду всего лишь умение продекламировать числовой ряд: “один, два, три... девяносто девять, сто”, покачав головой, зачислила меня в 1-й “д”, и вся моя школьная жизнь прошла среди хулиганов и двоечников, которые, впрочем, неуклонно отсеивались, так что к выпускному финишу пришло два класса по тридцать человек – 10-й “а” и 10-й “б”.

Общность школьного происхождения сближала нас с Витей, и на факультете мы первое время держались вместе. Мужское население филфака немногочисленно, зато каждый считает себя гением и культивирует свою оригинальность. Вите это давалось без труда. У него были большие, красивые, но разные глаза – один коричневый, другой зеленый. Уже в школе он носил костюм и галстук. Он курил трубку и умел пить коньяк (его отец был директором – метрдотелем? – ресторана). Он непринужденно перемежал свою речь словами “душа моя” и “голуба”. К урокам он не готовился, лекции пропускал, был невозмутим и молчалив, а когда высказывался, то ронял что-нибудь уайльдовское. Как-то позднее, курсе на втором или третьем, он сообщил мне, что только что разошелся со своей подружкой, и на мой вопрос, где же она, произнес: “Оне пошли бросаться под машины”.

На филфаке было принято, что кафедры вывешивали темы предлагаемых курсовых работ у входа на третий этаж (мы учились в старом университетском здании, Моховая, 11). Стены напротив лестницы, сами двери этажа и стены коридора за дверьми были покрыты листами бумаги с отпечатанными на машинке названиями тем. Меня, зеленого первокурсника, эти списки и страшили, и влекли – я читал в них вызов своему честолюбию.

– Витя, – сказал я, – давай пойдем на кафедру, выберем темы...

– Зачем, душа моя?

– Как зачем? Чтобы попробовать свои силы в науке, добиться результатов, завоевать уважение...

– Это тебе, душа моя, чтобы уважать себя, нужно писать курсовую, а я себя, голуба, и так уважаю.

Ни на какую кафедру мы тогда не пошли, без курсовых же, разумеется, не обошлось. Впрочем, филологом Витя не стал (это особая история), психологом же оказался неплохим. До сих пор я все что-то пишу, стараясь заслужить собственное уважение, но с переменным успехом, ибо ходить “на кафедру” так и не научился и по-прежнему обретаюсь в разного рода учреждениях класса “б”, – хотя вроде бы больше подхожу к “а”.

Против инварианта не попрешь.

Comrades Petrov and Smirnov

Лекции по грамматике нам читала О. С. Ахманова. Практические занятия по языку вели рядовые преподаватели, но в научные дебри они не пускались. Это была прерогатива Ахмановой, вдовы самого Александра Ивановича – А. И. Смирницкого. Анна Константиновна Старкова, которая вела нашу группу, говорила:

– What I teach you is how to speak English. And then Olga Sergeevna will come and give you all kinds of theories. (“Я учу вас, как говорить по-английски. А потом придет Ольга Сергеевна и обучит вас разным теориям”).

Ахманова говорила на изысканном литературном английском, с большим количеством слов латинского происхождения. Лекции она читала с закрытыми глазами. В ее случае эта наглядная демонстрация свободного владения материалом имела, как я узнал несколько позже, особую подоплеку: считалось, что при опущенных веках не так быстро образуются морщины в уголках глаз. Для нас же это означало возможность безнаказанно заниматься посторонними делами.

Однажды по ходу лекции она сказала что-то остроумное и открыла глаза, чтобы насладиться реакцией. Но оказалось, что ее не слушают: одни спят, другие делают домашние задания. Ее острота упала в совершеннейшую вату.

– Now, comrades, – сказала Ахманова, – when I am trying to be witty, I expect you to laugh. (“Товарищи, знаете ли, когда я пытаюсь остроить, я ожидаю, что вы засмеетесь”).

Таково было первое на моем жизненном пути явление английского юмора.

Как-то раз Ахманова раздавала курсовые работы по языку Шекспира. Юра Щеглов был рад случаю заново перечитать все пьесы в поисках какого-то там предлога или типа сложных слов. Володя Л., напротив, был готов к научным изысканиям лишь в пределах “Отелло”. Оценив ситуацию, Ахманова сказала:

– All right then, comrades. Comrade L. shall concentrate on “*Othello*”. As for comrade Shcheglov, I feel I am under the necessity to ask him kindly to confine himself to “*non-Othello*”. (Отлично, товарищи. Пусть товарищ Л. сосредоточится на “Отелло”. Что же касается товарища Щеглова, то я чувствую, что я вынуждена буду просить его ограничить свои усилия «не-Отелло»”).

Настойчивое comrades здесь не случайно. Я до сих пор помню (и иногда рассказываю своим американским студентам), что одной из первых прочитанных мной в университете английских фраз было: “Comrades Petrov and Smirnov went to the dining room”. (“Товарищи Петров и Смирнов пошли в столовую”). При этом под dining room, что по-английски означает столовую комнату в частном доме, то есть столовую в смысле профессора Преображенского, по-шариковски имелась в виду столовая общественная.

Так или иначе, мы научились прилично читать, писать и говорить по-английски, чем впечатляли своих сокурсников с русского отделения. (“Ты как – читаешь и сразу переводишь?” – спрашивали они.) Что хромало, так это произношение, вопреки усилиям нашей фонетички. На ее требования упражняться в тонкостях английской артикуляции я отвечал:

– Ирина Федоровна, ну зачем мне это? Ведь мне же никогда не придется притворяться американцем?!

Чеширское

Даже в нашей разношерстной английской группе романо-германского отделения филфака МГУ созыва 1954 года Боря Сухотин выделялся своей непохожестью. С этим умнейшим человеком я провел пять лет бок о бок, но остался практически незнаком. Заглянуть за его непроницаемую маску мне случилось лишь однажды, и то мельком.

Наименее особенными в группе были, естественно, две “девочки”: Катя Демьянюк, долговязая, носатая, безгрудая, незлобная – явная будущая преподавательница, и Галя Андреева, веснушчатая, энергичная, с высоким лбом, претензиями на женственность и задатками заведующей того или иного масштаба. Кем она стала, не знаю. Уже после окончания университета мы с ней пытались “встречаться” и даже предавались катанию по ночной Москве на велосипедах, но все это совершенно не вытанцовывалось и ни к чему не привело.

Был студент по фамилии Мацевич, необычайно высокого роста (много выше моих метра восьмидесяти девяти), тощий, с вечными прыщами на бледном нездоровом лице, всегда при галстуке и в черном костюме, но потертом, лоснящемся. Он держался с каким-то жалким достоинством и излучал постоянную ауру болезни, бедности и несчастья.

Прямой противоположностью ему был Володя Аркадьев, здоровяк, бабник, охальник, сын крупного советского дипломата. Жениться он собирался – и, кажется, женился – на сокурснице Эллочке, дочери другого видного функционера, но попутно развлекался с несколькими другими русистками (в том числе восточной красавицей Заремой; она дарила кокетливыми улыбками и меня, но я тогда ничего в этом не понимал, а жаль). Забавно, что, пойдя в дальнейшем, хотя и недалеко, по дипломатическим стопам своего отца, Володя выбрал в качестве страны пребывания Сомали (языком которой я занимался в ипостаси невыездного филолога-диссидента), прослужил там некоторое время, что-то даже выучил, но в дальнейшем спился и, как мне сообщили, уже умер. В Википедии следа не оставил.

О себе и Щеглове, фигурах тоже не совсем стандартных, я писал достаточно, вспоминал и о выдающемся разве что своей ригидной советскостью Володе Львове.⁴ Поэтому перехожу наконец к Боре Сухотину, который, подобно Львову и в отличие от четверых остальных мужчин, был низкого роста. И, в отличие от всех вообще в группе, – молчалив, сосредоточен на себе, даже мрачноват, с ним трудно было встретиться глазами. Глаза же его, маленькие, черные, как у птицы или насекомого, смотрели пристально и в то же время отчужденно. Лицо было не загорелое, но желтовато-смуглое, а голова непропорционально большая, и держал он ее очень прямо, тогда как спину слегка горбил. То есть, как я теперь мысленно его себе представляю, гляделся неулыбчивым мудрым карлой.

Ни в каких мероприятиях Боря не участвовал, в турпоходы не ходил, научных кружков и вечеринок не посещал, в волейбол не играл – сводил свое присутствие к минимуму. Учился отлично.

Когда мы окончили курс и я прибил к машинному переводу, я потерял было его из виду – он не входил и в эту тусовку, но потом оказалось, что именно структурной и математической лингвистикой он и занимается, причем построил уникальный алгоритм морфологического анализа любого языка как неизвестного – дешифрующий его структуру исходя из простейшей идеи, что гласные чаще соседствуют с согласными, чем с другими гласными, и наоборот. Из этой минимальной посылки с помощью остроумной компьютерной программы извлекались богатейшие результаты. Интернет только что донес мне, что по своей работе Б. В. Сухотин опубликовал две книги (в 1976-м и 1984-м), дожил до перестройки, но в 1990-м умер – в возрасте всего 53 лет.

⁴ См. виньетку “Шестидесятники”, с. 133–139.

Из немногочисленных разговоров с ним помню один, возможно, спровоцированный каким-нибудь моим шуточным стишком с эффектной каламбурной рифмой. Он сказал, что такие рифмы неинтересны. “А какие же интересны?” – спросил я. “Ну, например, такие, – сказал Боря:

На лице у товарища *Гомулки*
Довольно странная *ухмылка*.

Владислав Гомулка был тогда главой польской компартии и очень тревожил хрущевское руководство своими реформистскими порывами. Декламируя стишок, Боря, в согласии с его содержанием, слегка улыбнулся – в первый и последний раз на моей памяти.

Троянской войны не будет

“Спецподготовку” студенты-гуманитарии второй половины 1950-х годов – будущие пехотные офицеры запаса – проходили на спецкафедре. Это стыдливо-секретное наименование не мешало ее преподавателям расхаживать в военной форме, стуча сапогами, но оно же выдавало неожиданное пристрастие к таинствам Слова. Сказывалось и наступление “оттепели”, явившейся на свет, подобно Афине, логоцентрическим способом. И вообще, давала о себе знать подозрительная разговорность всего этого военного дела.

– Филологи мне как-то ближе, – начал первое занятие по тактике молодежавый капитан Кириллов, выпускник иностранного факультета военной академии.

Журя студента за неумелую разборку оружия, он приговаривал:

– Это вам, Аркадьев, не перевод из Бернарда Шоу!

Но и сама разборка – операция, требовавшая простейших ремесленных навыков, – содержала шикарный филологический компонент. Надо было не просто разбирать и собирать винтовку, но и последовательно называть ее части: “ствол”, “затвор”, “газовая камора” (а не, упаси боже, “камера”) и производимые над ними действия: “легким постукиванием отделяем...” (что от чего, не помню, но “легкое постукивание” незабываемо).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.